

Honoré de
BALZAC
1799 – 1850

Оноре де
БАЛЬЗАК

Отец Горю

Роман



Санкт-Петербург

Великому и знаменитому Жоффруа де Сент-Илеру
в знак восхищения его работами и гением.

Де Бальзак

Престарелая вдова Воке, в девицах де Конфлан, уже лет сорок держит семейный пансион в Париже на улице Нев-Сент-Женевьев, что между Латинским кварталом и предместьем Сен-Марсо. Пансион под названием «Дом Воке» открыт для всех — для юношей и стариков, для женщин и мужчин, и все же нравы в этом почтенном заведении никогда не вызывали нареканий. Но, правду говоря, там за последние лет тридцать и не бывало молодых женщин, а если поселялся юноша, то это значило, что от своих родных он получал на жизнь очень мало. Однако в 1819 году, ко времени начала этой драмы, здесь оказалась бедная молоденькая девушка. Как ни подорвано доверие к слову «драма» превратным, неуместным и расточительным его употреблением в скорбной литературе наших дней, здесь это слово неизбежно: пусть наша повесть и не драматична в настоящем смысле слова, но, может быть, кое-кто из читателей, закончив чтение, прольет над ней слезу *intra* и *extra muros*¹. А будет ли она понятна и за пределами Парижа? В этом можно усомниться. Подробности всех этих сцен, где столько разных наблюдений и местного колорита, найдут себе достойную оценку только между холмами Монмартра и пригорками Монружа, только в знаменитой долине с дрянными

¹ В стенах города и за его стенами (*лат.*).

постройками, которые того и гляди рухнут, и водосточными канавами, черными от грязи; в долине, где истинны одни страдания, а радости нередко ложны, где жизнь бурлит так ужасно, что лишь необычайное событие может здесь оставить по себе хоть сколько-нибудь длительное впечатление. А все-таки порой и здесь встретишь горе, которому сплетение пороков и добродетелей придает величие и торжественность: перед его лицом корысть и себялюбие отступают, давая место жалости; но это чувство проходит так же быстро, как ощущение от сочного плода, проглоченного наспех. Колесница цивилизации в своем движении подобна колеснице с идолом Джагернаутом: наехав на человеческое сердце, не столь податливое, как у других людей, она слегка запнется, но в тот же миг уже крушит его и гордо продолжает путь. Вроде этого поступите и вы: взяв эту книгу холеной рукой, усядетесь поглубже в мягком кресле и скажете: «Быть может, это развлечет меня?» — а после, прочтя про тайные отцовские невзгоды Горио, покушаете с аппетитом, бесчувственность же свою отнесете за счет автора, упрекнув его в преувеличении и осудив за поэтические вымыслы. Так знайте же: эта драма не выдумка и не роман. All is true¹, — она до такой степени правдива, что всякий найдет ее зачатки в своей жизни, а возможно, и в своем сердце.

Дом, занятый под семейный пансион, принадлежит г-же Воке. Стоит он в нижней части улицы Нёв-Сент-Женевьев, где местность, снижаясь к Арбалетной улице, образует такой крутой и неудобный спуск, что конные повозки тут проезжают очень редко. Это обстоятельство способствует тишине на улицах, запряженных в пространстве между Валь-де-Грас и Пан-

¹ Все это правда (англ.).

теоном, где эти два величественных здания изменяют световые явления атмосферы, пронизывая ее желтыми тонами своих стен и все вокруг омрачая суровым колоритом огромных куполов. Тут мостовые сухи, в канавах нет ни грязи, ни воды, вдоль стен растет трава; самый беспечный человек, попав сюда, становится печальным, как и все здешние прохожие; грохот экипажа тут целое событие, дома угрюмы, от глухих стен веет тюрьмой. Случайно зашедший парижанин тут не увидит ничего, кроме семейных пансионов или учебных заведений, нищеты и скуки, умирающей старости и жизнерадостной, но вынужденной трудиться юности. В Париже нет квартала более ужасного и, надобно заметить, менее известного.

Улица Нёв-Сент-Женевьев, как бронзовая рама для картины, достойна больше всех служить оправой для этого повествования, которое требует как можно больше темных красок и серьезных мыслей, чтобы читатель заранее проникся должным настроением, — подобно путешественнику при спуске в катакомбы, где с каждой ступенькой все больше меркнет дневной свет, все глуше раздается певучий голос провожатого. Верное сравнение! Кто решит, что более ужасно: взирать на черствые сердца или на пустые черепа?

Главным фасадом пансион выходит в садик, образуя прямой угол с улицей Нёв-Сент-Женевьев, откуда видно только боковую стену дома. Между садиком и домом, перед его фасадом, идет выложенная щебнем неглубокая канава шириной в туаэ, а вдоль нее — песчаная дорожка, окаймленная геранью, а также гранатами и олеандрами в больших вазах из белого с синим фаянса. На дорожку с улицы ведет калитка; над ней прибита вывеска, на которой значится: «ДОМ ВОКЕ», а ниже: *Семейный пансион для лиц обоего пола и прочая.* Днем сквозь решетчатую калитку со звонким ко-

локольчиком видна против улицы, в конце канавы, стена, где местный живописец нарисовал арку из зеленого мрамора, а в ее нише изобразил статую Амура. Глядя теперь на этого Амура, покрытого лаком, уже начавшим шелушиться, охотники до символов, пожалуй, усмотрят в статуе символ той парижской любви, последствия которой лечат по соседству. На время, когда возникла эта декорация, указывает полустершаяся надпись под цоколем Амура, которая свидетельствует о восторженном приеме, оказанном Вольтеру при возвращении его в Париж в 1778 году:

Кто б ни был ты, о человек,
Он твой наставник, и навек.

К ночи вход закрывают не решетчатой дверцей, а глухой.

Садик, шириной во весь фасад, втиснут между забором со стороны улицы и стеной соседнего дома, который, однако, скрыт сплошной завесой из плюща, настолько живописной для Парижа, что она привлекает взоры прохожих. Все стены, окружающие сад, затянуты фруктовыми шпалерами и виноградом, и каждый год их пыльные и чахлые плоды становятся для г-жи Воке предметом опасений и бесед с жильцами. Вдоль стен проложены узкие дорожки, ведущие под кущу лип, или *липп*, как г-жа Воке, хотя и родом де Конфлан, упорно произносит это слово, несмотря на грамматические указания своих нахлебников. Меж боковых дорожек разбита прямоугольная куртина с артишоками, обсаженная щавелем, петрушкой и латуком, а по углам ее стоят пирамидально подстриженные плодовые деревья. Под сенью лип врыт в землю круглый стол, выкрашенный в зеленый цвет, и вокруг него поставлены скамейки. В самый разгар лета, когда бывает такое пекло, что можно выводить цыплят без помощи

наседки, здесь распивают кофе те из постояльцев, кто достаточно богат, чтобы позволить себе эту роскошь.

Дом в четыре этажа с мансардой выстроен из известняка и выкрашен в тот желтый цвет, который придает какой-то пошлый вид почти всем домам Парижа. В каждом этаже пять окон с мелким переплетом и с жалюзи, но ни одно из жалюзи не поднимается вровень с другими, а все висят и вкривь и вкось. С бокового фасада лишь по два окна на этаж, при этом на нижних окнах красуются решетки из железных прутьев. Позади дома двор, шириною футов в двадцать, где в добром согласии живут свиньи, кролики и куры; в глубине двора стоит сарай для дров. Между сараем и окном кухни висит ящик для хранения провизии, а под ним проходит сток для кухонных помоев. Со двора на улицу Нев-Сент-Женевьев пробита маленькая дверца, в которую кухарка сгоняет все домашние отбросы, не жалея воды, чтобы очистить эту свалку, во избежание штрафа за распространение заразы.

Нижний этаж сам собою как бы предназначен под семейный пансион. Первая комната, с окнами на улицу и стеклянной входной дверью, представляет собой гостиную. Гостиная сообщается со столовой, а та отделена от кухни лестницей, деревянные ступеньки которой выложены квадратиками, покрыты краской и натерты воском. Трудно вообразить себе что-нибудь безотраднее этой гостиной, где стоят стулья и кресла, обитые волосяной материей в блестящую и матовую полоску. Середину гостиной занимает круглый стол с доской из черно-крапчатого мрамора, украшенный кофейным сервизом белого фарфора с потертой золотой каемкой, какой найдешь теперь везде. Пол настлан кое-как, стены обшиты панелями до уровня плеча, а выше оклеены глянцевитыми обоями с изображением главнейших сцен из «Телемака», где действующие ли-

ца античной древности представлены в красках. В простенке между решетчатыми окнами глазам пансионеров открывается картина пира, устроенного в честь сына Одиссея нимфой Калипсо. Эта картина уже лет сорок служит мишенью для насмешек молодых нахлебников, воображающих, что, издеваясь над обедом, на который обрекает их нужда, они становятся выше своей участи. Камин, судя по неизменной чистоте пода, топится лишь в самые торжественные дни, а для красоты на нем водружены замечательно безвкусные часы из синеватого мрамора и по бокам их, под стеклянными колпаками, — две вазы с ветхими букетами искусственных цветов.

В этой первой комнате стоит особый запах; он не имеет соответствующего наименования в нашем языке, но его следовало бы назвать *запахом пансиона*. В нем чувствуется затхлость, плесень, гниль; он вызывает содрогание, бьет чем-то мозглым в нос, пропитывает собой одежду, отдает столовой, где кончили обедать, зловонной кухмистерской, лакейской, кучерской. Описать его, быть может, и удастся, когда изыщут способ выделить все тошнотворные составные его части — особые, болезненные запахи, исходящие от каждого молодого или старого нахлебника. И вот, несмотря на весь этот пошлый ужас, если сравнить гостиную со смежной столовой, то первая покажется изящной и благоуханной, как будуар.

Столовая, доверху обшитая деревом, когда-то была выкрашена в какой-то цвет, но краска уже неразличима и служит только грунтом, на который наслоилась грязь, разрисовав его причудливым узором. По стенам — липкие буфеты, где пребывают щербатые и мутные графины, поддонники из жести со струйчатым рисунком, стопки толстых фарфоровых тарелок с голубой каймой — изделие мануфактуры Турнэ. В одном

углу поставлен ящик с нумерованными отделениями, чтобы хранить, для каждого нахлебника особо, залитые вином или просто грязные салфетки. Тут еще встретишь мебель, изгнанную отовсюду, но несокрушимую и помещенную сюда, как помещают отходы цивилизации в больницы для неизлечимых. Тут вы увидите барометр с капуцином, вылезаящим, когда дождь уже пошел; мерзкие гравюры, от которых пропадает аппетит, — все в лакированных деревянных рамках, черных с золочеными ложками; стенные часы, отделанные рогом с медной инкрустацией; зеленую муравленую печь; кенкеты Аргана, где пыль смешалась с маслом; длинный стол, покрытый клеенкой настолько грязной, что весельчак-нахлебник пишет на ней свое имя просто пальцем, за неимением стилоса; искалеченные стулья, соломенные жалкие циновки — в вечном употреблении и без износа; затем дрянные грелки с развороченными продушинами, с обуглившимися ручками и сломанными петлями. Трудно передать, насколько вся эта обстановка ветха, гнила, щелиста, неустойчива, источена, крива, коса, увечна, чуть жива, — понадобилось бы пространное описание, но это затянуло бы развитие нашей повести, чего, пожалуй, не простят нам люди занятые. Красный пол — в щербинах от подкраски и натирки. Короче говоря, здесь царство нищеты, где нет намека на поэзию, нищеты потертой, скаредной, сгущенной. Хотя она еще не вся в грязи, но покрыта пятнами, хотя она еще без дыр и без лохмотьев, но скоро превратится в тлен.

Эта комната бывает в полном блеске около семи часов утра, когда, предшествуя своей хозяйке, туда приходит кот г-жи Воке, вспрыгивает на буфет и, мурлыча утреннюю песенку, обнюхивает чашки с молоком, накрытые тарелками. Вскоре появляется сама хозяйка, нарядившись в тюлевый чепец, откуда выбилась

прядь накладных, неряшливо приколотых волос; вдова идет, пошмыгивая разношенными туфлями. На жирном потрепанном ее лице нос торчит, как клюв у попуга; пухлые ручки, раздобревшее, словно у церковной крысы, тело, чересчур объемистая, колыхающаяся грудь — все гармонирует с залой, где отовсюду сочится горе, где притаилась алчность и где г-жа Воке без тошноты вдыхает теплый смрадный воздух. Холодное, как первые осенние заморозки, лицо, окруженные морщинками глаза выражают все переходы от деланной улыбки танцовщицы до зловещей хмурости ростовщика, — словом, ее личность предопределяет характер пансиона, как пансион определяет ее личность. Каторга не бывает без надсмотрщика, — одно нельзя себе представить без другого. Бледная пухлость этой барыньки — такой же продукт всей ее жизни, как тиф есть последствие заразного воздуха больниц. Шерстяная вязаная юбка, вылезшая из-под верхней, сшитой из старого платья, с торчащей сквозь прорехи ватой, воспроизводит в сжатом виде гостиную, столовую и садик, говорит о свойствах кухни и дает возможность предугадать состав нахлебников. Появлением хозяйки картина завершается. В возрасте около пятидесяти лет вдова Воке похожа на всех женщин, *выдавших виды*. У нее стеклянный взгляд, безгрешный вид сводни, готовой вдруг раскипятиться, чтобы взять дорожку, да и вообще для облегчения своей судьбы она пойдет на все: предаст и Пишегрю и Жоржа, если бы Жорж и Пишегрю могли быть преданы еще раз. Нахлебники же говорят, что она в сущности баба неплохая, и, слыша, как она кряхтит и хнычет не меньше их самих, воображают, что у нее нет денег. Кем был г-н Воке? Она никогда не распространялась о покойнике. Как потерял он состояние? Ему не повезло, — гласил ее ответ. Он плохо поступил с ней, оставив ей лишь слезы, да

этот дом, чтобы существовать, да право не сочувствовать ничьей беде, так как, по ее словам, она перестрадала все, что в силах человека.

Заслышав семенящие шаги своей хозяйки, кухарка, толстуха Сильвия, торопится готовить завтрак для нахлебников-жильцов. Нахлебники со стороны, как правило, абонировались только на обед, стоивший тридцать франков в месяц. Ко времени начала этой повести пансионеров было семь. Второй этаж состоял из двух помещений, лучших во всем доме. В одном, поменьше, жила сама Воке, в другом — г-жа Кутюр, вдова интендантского комиссара времен Республики. С ней проживала совсем юная девица Викторина Тайфер, которой г-жа Кутюр заменяла мать. Годовая плата за содержание обеих доходила до тысячи восьмисот франков в год. Из двух комнат в третьем этаже одну снимал старик по имени Пуаре, другую — человек лет сорока, в черном парике и с крашеными баками, который называл себя бывшим купцом и именовался г-н Вотрен. Четвертый этаж состоял из четырех комнат, из них две занимали постоянные жильцы: одну — старая дева мадемуазель Мишоно, другую — бывший фабрикант вермишели, пшеничного крахмала и макарон, всем позволявший называть себя папаша Горио. Остальные две комнаты предназначались для перелетных птичек, тех бедняков-студентов, которые, подобно мадемуазель Мишоно и папаше Горио, не могли тратить больше сорока пяти франков на стол и на квартиру. Но г-жа Воке не очень дорожила ими и брала их только за неимением лучшего: уж очень много ели они хлеба.

В то время одну из комнат занимал молодой человек, приехавший в Париж из Ангулема изучать право, и многочисленной семье его пришлось обречь себя на тяжкие лишения, чтоб высылать ему на жизнь тысячу двести франков в год. Эжен де Растиньяк, так его зва-

ли, принадлежал к числу тех молодых людей, которые приучены к труду нуждой, с юности начинают понимать, сколько надежд возложено на них родными, и готовят себе блестящую карьеру, хорошо взвесив всю пользу от приобретения знаний и приспособляя свое образование к будущему развитию общественного строя, чтобы в числе первых пожинать его плоды. Без пытливых наблюдений Растиньяка и без его способности проникать в парижские салоны повесть утратила бы те верные тона, которыми она обязана, конечно, Растиньяку, — его прозорливому уму и его стремлению разгадать тайны одной ужасающей судьбы, как ни старались их скрыть и сами виновники ее и ее жертва.

Над четвертым этажом находился чердак для сушилки белья и две мансарды, где спали слуга по имени Кристоф и толстуха Сильвия, кухарка.

Помимо семерых жильцов, у г-жи Воке столовались — глядя по году, однако же не меньше восьми — студенты, юристы или медики да два-три завсегдатая из того же квартала; они все абонировались только на обед. К обеду в столовой собиралось восемнадцать человек, а можно было усадить и двадцать; но по утрам в ней появлялось лишь семеро жильцов, причем завтрак носил характер семейной трапезы. Все приходили в ночных туфлях, откровенно обменивались замечаниями по поводу одежды или облика нахлебников со стороны, по поводу событий вчерашнего вечера, беседа запросто, по-дружески. Все эти семеро пансионеров были баловнями г-жи Воке, с точностью астронома отмерявшей им свои заботы и внимание в зависимости от платы за пансион. Ко всем этим существам, сошедшимся по воле случая, применялась одна мерка. Два жильца третьего этажа платили всего лишь семьдесят два франка в месяц. Такая дешевизна, возмож-

ная только в предместье Сен-Марсо, между Сальпетриер и Бурб, где плата за содержание г-жи Кутюр являлась исключением, говорит о том, что здешние пансионеры несли на себе бремя более или менее явных злополучий. Вот почему удручающему виду всей обстановки дома соответствовала и одежда завсегдатаев его, дошедших до такого же упадка. На мужчинах — сюртуки какого-то загадочного цвета, обувь такая, какую в богатых кварталах бросают за ворота, ветхое белье, — словом, одна *видимость* одежды. На женщинах — вышедшие из моды, перекрашенные и снова выцветшие платья, старые, штопаные кружева, залоснившиеся перчатки, пожелтевшие воротнички и на плечах — дырявые косынки. Но если такова была одежда, то тело почти у всех оказывалось крепко сбитым, здоровье выдерживало натиск житейских бурь, а лицо было холодное, жесткое, полустертое, как изъятая из обращения монета. Увявшие рты были вооружены хищными зубами. В судьбе этих людей чувствовались драмы, уже законченные или в действии: не те, что разыгрываются при свете рамп, в расписных холстах, а драмы, полные жизни и безмолвные, застывшие и горячо волнующие сердце, драмы, которым нет конца.

Старая дева Мишоно носила над слабыми глазами грязный козырек из зеленой тафты на медной проволоке, способный отпугнуть самого ангела-хранителя. Шаль с тощей, плакучей бахромой, казалось, облекала один скелет — так угловаты были формы, сокрытые под ней. Надо думать, что некогда она была красива и стройна. Какая же кислота стравила женские черты у этого создания? Порок ли, горе или скупость? Не злоупотребила ли она утехами любви или была просто куртизанкой? Не искупала ли она триумфы дерзкой юности, к которой хлынули потоком наслажденья, старостью, пугавшей всех прохожих? Теперь ее пустой

взгляд нагонял холод, неприятное лицо было злое-ще. Тонкий голосок звучал как стрекотание кузнечика в кустах перед наступлением зимы. По ее словам, она ухаживала за каким-то стариком, который страдал катаром мочевого пузыря и брошен был своими детьми, решившими, что у него нет денег. Старик оставил ей пожизненную ренту в тысячу франков, но время от времени наследники оспаривали это завещание, возводя на Мишоно всяческую клевету. Ее лицо, истрепанное бурями страстей, еще не окончательно утратило свою былую белизну и тонкость кожи, наводившие на мысль, что тело сохранило кое-какие остатки красоты.

Господин Пуаре напоминал собою какой-то автомат. Вот он блуждает серой тенью по аллее Ботанического сада: на голове старая помятая фуражка, рука едва удерживает трость с пожелтелым набалдашником слоновой кости, выцветшие полы сюртука болтаются, не закрывая ни коротеньких штанов, надетых будто на две палки, ни голубых чулок на тоненьких, трясущихся, как у пьяницы, ногах, а сверху вылезает грязная белая жилетка и топорщится заскорузлое жабо из дешевого муслина, отделяясь от скрученного галстука на индюшачьей шее; у многих, кто встречался с ним, невольно возникал вопрос: не принадлежит ли эта китайская тень к дерзкой породе сынов Иафета, порхающих по Итальянскому бульвару? Какая же работа так скрючила его? От какой страсти потемнело его шишковатое лицо, которое и в карикатуре показалось бы невероятным? Кем был он раньше? Быть может, он служил по министерству юстиции, в том отделе, куда все палачи шлют росписи своим расходам, счета за поставку черных покрывал для отцеубийц, за опилки для корзин под гильотиной, за бечеву к ее ножу. Он мог быть и сборщиком налога у ворот бойни или помощником санитарного смотрителя. Словом, этот че-